

Семинар, посвященный памяти Владимира Вениаминовича Бибихина

11 декабря 2014 г. в секторе философских проблем социального и гуманитарного знания Института философии РАН, который до недавнего времени именовался Центром методологии и этики науки, состоялся семинар памяти Владимира Вениаминовича Бибихина. На нем присутствовали не только сотрудники сектора (Ф.Н.Блюхер, С.Л.Гурко, А.А.Гусева, Г.Б.Гутнер, Л.Г.Кришталева, Н.Н.Мурзин, С.С.Неретина), но и некоторые наши институтские коллеги (В.М.Розин) и студенты ГАУГН (Т.А.Жихарева). Семинар вела С.С.Неретина.

Remembering V.V. Bibikhin

(materials of the seminar)

С.С.Неретина: 12 декабря, т. е. завтра, исполняется 10 лет со дня смерти Владимира Вениаминовича Бибихина. Он около 15 лет работал в Центре методологии и этики науки и, можно сказать, остался в нем до сих пор. Я и до сих пор вспоминаю некий решающий разговор, свидетелем которого нечаянно оказалась. Войдя в нашу рабочую комнату после одного из занятий со студентами, увидела двух строгих напрягшихся мужей, сидящих друг против друга. Один из них, Владимир Вениаминович, сказал: «Александр Павлович, мне осталось недолго. Я могу уйти из Института. Я должен это сказать». Второй, Александр Павлович Огурцов, тогда заведующий Центром, немедля и даже опережая его речь ответил: «Владимир Вениаминович, Вы будете здесь столько, сколько будете». Ему суждена в этих стенах жизнь, превышающая возможности человеческого организма. Сегодня мы собрались не только для того, чтобы почтить память, но и для того, чтобы, пусть не в полной мере, выразить, что значило для нас однолишь присутствие Бибихина в этих стенах.

Ф.Н.Блюхер: Сам того не зная, я познакомился с трудами Владимира Вениаминовича гораздо раньше, чем услышал его имя. На кафедре истории философии МГУ были переводы статей М.Хайдеггера, которые я во время учебы все проштудировал. По молодости или по глупости, но на фамилию переводчика я тогда внимания не обратил, меня интересовала онтология, и мне важно было понять мысль философа, а не способы ее передачи. Оказавшись в Институте философии в 1984 г., я также не сразу узнал, что работаю с Владимиром Вениаминовичем в одном учреждении. Моими философскими кумирами были Э.В.Ильенков, В.С.Библер, М.К.Мамардашвили. Я относился к ним по-разному, например, Библера боготворил, а Мамардашвили не понимал, но, видимо, главным для меня в то время была широта обобщения и логическая красота решения проблемы. Тогда же от друзей, особенно переводивших с редких языков, я впервые услышал о Владимире Вениаминовиче. В этом не было ничего странного, потому что он работал в секторе научной информации,

занимавшемся задачами, которые ставила дирекция института, т. е. это было не совсем научное подразделение, скорее обслуживающее администрацию. «Так-то оно так, - сказали мне друзья, - но там работает Бибихин». На мой вопрос «Кто это?» Мне ответили: «Очень умный полиглот, с которым можно обсуждать санскрит и пали». И еще мне приходит на память коридорный разговор двух дам из вышеупомянутого сектора, случайным свидетелем которого я оказался. «Да кто такой Бибихин?» - спросила одна из них другую и сама себе ответила: «Он просто переводчик». Так бы все и оставалось, но тут грянула перестройка, и Виталий Горохов выпустил книгу по философии техники, куда включил все переведенные Владимиром Вениаминовичем работы Хайдеггера. Тут-то я и понял, благодаря кому я познакомился с современной немецкой философией. Но узнавание не означает знания. Области наших интересов были очень далеки друг от друга. Юношеское очарование Хайдеггером давно прошло, а к методологии естественных и социальных наук работы Владимира Вениаминовича того периода не имели никакого отношения. В 1990 г. я поехал на стажировку в Германию, захватив с собой книгу Горохова. Интернета тогда не было, поэтому гуманитарии ездили по Европе почти как современные китайские студентки, с большими чемоданами книг. Переводя работы по философии техники, я решил свериться с переводами Владимира Вениаминовича, благо работы Хайдеггера были под рукой. Мне кажется, что именно тогда я понял всю тяжесть задачи и увидел, что Владимир Вениаминович старался по возможности более точно передать слова философа, создав практически подстрочник, в то время как Хайдеггер скорее устраивал некую метафорическую игру, лежащую на грани философии, филологии, поэзии, и скорее всего его нужно было переводить по-другому. Хотя ценность ранних переводов Владимира Вениаминовича от этого не уменьшается, но... Следующая встреча произошла в Институте, когда Владимир Вениаминович стал вести свой личный семинар, на котором он рассказывал «как должно переводить Хайдеггера», и это был уже другой Хайдеггер.

Так мы и существовали в разных вселенных. Он - в текстах, словах, раздумьях, мыслях. Я - в проектах, задачах, статьях, отчетах. И пересеклись-то еще только раз, при обсуждении моей статьи об историческом событии, которую он похвалил, хотя и сказал, что «событие – это очень большая тема». Скромный, немодный, неактуальный, немного чудаковатый Профессионал поставил перед собой задачу проделать в русском языке ту же работу, которую Хайдеггер проделал в немецком, и через решение этой задачи ставший «русским Хайдеггером». Более того, Владимир Вениаминович не остановился на языке, темой его рассуждений стали право, Россия, жизнь и сама Философия. Тем самым он, преодолевая схематизм узкой специализации, навязанный нам современными дисциплинарными рамками, вышел в пространство философии. И оказалось, что это и есть его место, его воздух и его сущность. Внезапно в конце 1990-х я услышал от «вчерашнего» выпускника философского факультета такую оценку нашей альма-матер: - «Да у нас там и философов не было, только Бибихин».

Передо мной на столе «Sein und Zeit» в переводе Бибихина. Можно считать, что это - не идеальный перевод Хайдеггера, что это больше Бибихин, переводящий Хайдеггера, чем сам Хайдеггер. Но с моей точки зрения - это профессиональный подвиг. Он сделал то, чего другие не могли сделать в течение семидесяти лет. И тем самым реализовал свой талант в философии, не разменивая его на моду и актуальность. Сможем ли мы?

В.М.Розин: Я познакомился с Володей Бибихиным лет десять или одиннадцать тому назад. Профессор В.С.Диев из Новосибирского университета пригласил нас в летнюю философскую школу прочесть лекции для аспирантов и студентов старших курсов. Поселили нас в одной комнате, так мы и познакомились, и сразу возникла

взаимная симпатия. Конечно, я слышал о Бибихине, но работ его не читал. Помню, мы много разговаривали и рассказывали о себе. Володя - о том, как он пришел в философию, а я больше о Щедровицком, который его интересовал.

Каждое утро Володя шел плавать в небольшое озеро, расположенное рядом с нашим домом. Был он страшно худ, но плавал хорошо.

Меня всегда интересовали люди, но в данном случае мое внимание было особенно заострено. Володя производил впечатление человека, который знал что-то такое, что не знают другие. Удивительная твердость духа, ясность, обусловленные неизвестной мне реальностью. И одновременно доброжелательность, и, как и у меня, интерес к людям.

Потом в институте мы встречались, но уже общались мало. Тем не менее, Володя прислал мне предварительный вариант своей книги «Витгенштейн: смена аспекта». После его смерти, три года тому назад, я наткнулся на нее и стал с большим интересом читать. Почувствовал, что мой долг написать по поводу этой книги (см. статью в этом номере журнала). И дело даже не в самой очень глубокой работе, заставившей меня прочесть и Витгенштейна, а в том, что я как бы восстановил свою связь с Володиёй, который настойчиво приглашал меня к разговору. И я с радостью вступил в этот разговор.

Г.Б.Гутнер: Мое знакомство с Бибихиным никогда не было близким. Тем не менее, я рискну сказать, что мы были с ним в чем-то едины, разделяли некую общую судьбу и общую веру. Как-то получалось, что мы, не имея совместных планов, часто оказывались в одних и тех же местах, преподавали или читали лекции в одних и тех же учебных заведениях, работали в одном секторе в Институте. При этом Владимир Вениаминович являл тот тип философствования, который особенно труден для меня. Его речь всегда была своего рода загадкой, требующей особой герменевтической работы. Сейчас я бы сказал, что он философствовал не от своего лица. Это тот тип философствования, который, наверное, восходит к Гераклиту, призывавшему внимать Логосу и говорить от его имени. Через него всегда был слышен некий Голос, само Мышление, пробивающее себе дорогу через произносимые слова. Поэтому его философия столь близка мистике. При этом, замечу, ее никак нельзя назвать религиозной философией. Последняя всегда пытается исходить из совершившегося события веры, что немедленно превращает ее в богословие. К Бибихину это не имеет никакого отношения.

Собственное философствование Бибихина и его переводы были одним и тем же делом. За его переводами, как за его речью слышен тот же Голос. Философия в обоих случаях оказывается актом особого внимания, вслушивания, если угодно, послушания. Авторы, которых он переводил, чаще всего мыслили в такой же манере. Именно поэтому всякая беседа с ним была полна неожиданностями и чревата потрясающими открытиями. Он умел вслушиваться в любую речь и распознавать в ней (или за ней) самое существенное. Меня поражало, что и в моей собственной (подчас, весьма убогой) речи он ухитрялся услышать нечто значимое, о чем я, как правило, не подозревал. «Постойте, Вы сейчас сказали нечто важное!». В самом деле, сказал, хотя и не предполагал этого. Это был всякий раз серьезный урок — соучастие в событии мысли, осуществляющейся своими путями, но и не без нашего участия.

С.С.Неретина: Мнение о том, что он филолог, лингвист, существует и по сей день. И тем более тогда, в 1990 г., когда расформировывали сектор библиографии, которым руководил Григорьянц, на аттестационной комиссии встал вопрос о том, в какие отсеки Института «распределять» бывших сотрудников этого сектора. Бибихин был в их числе. Александр Павлович Огурцов, входивший в эту комиссию, рассказывал: когда дело дошло до Владимира Вениаминовича, одна весьма именитая

дама-философ воскликнула, что она не знает, кто такой Бибихин. Александр Павлович Огурцов, который был членом аттестационной комиссии, оторопел. Мы все знали его по ИНИОНовским рефератам, из которых создавались номерные сборники, через которые он нас знакомил с Э.Жильсоном, М.Хайдеггером и др. И тогда после оторопи Огурцов предложил Владимиру Вениаминовичу стать членом нашего сообщества, вскоре выделившегося из сектора философии науки и техники в Центр методологии и этики науки, где он через некоторое время начал вести семинары. В конце 1990-х на семинары ходило несколько (не более 7-8) человек. Но именно эта немногочисленность придавала семинару ту прочность, которая необходима для всякого хорошего обсуждения.

С.Л.Гурко: Я не могу похвастаться близким знакомством с Владимиром Вениаминовичем. Разумеется, работая в ИФАНе, я знал понаслышке о переводчике Хайдеггера, и о том, что над «Бытием и временем» он работает уже много лет, но лично мы с ним столкнулись лишь тогда, когда мне заказали рецензию на только что вышедшую книгу. То были «Позиции» Деррида в переводе Бибихина. Рецензия получилась несколько задиристая, и Бибихин, встретив меня в коридоре, остановил для разговора. К моему удивлению, в разговоре не было ни грана «выяснения отношений», ему нужно было поговорить по существу. Вот именно то, что его не интересовали чины и этикет, а только настоящая необходимость прояснить свою позицию, меня и покорило. Позже, когда мы работали в одном секторе, мне не раз случалось с ним беседовать. И опять-таки, я не относился к числу его постоянных или важных для него собеседников, но всякий разговор был насыщенным и нередко завершался уже после расставания присылкой по электронной почте какого-либо текста, относящегося к теме разговора. Одну такую посылку с необыкновенно изящным эссе под названием «Точка», с шутливым прибавлением в самом письме, обыгрывающим выражение «поставить точку в разговоре», я особенно хорошо помню. В этом была и игра, и забота о том, чтобы даже небольшой и вроде бы случайный разговор имел форму и завершенность настоящего дела.

Однажды случилось говорить с очень взволнованным Бибихиным: что-то неладное случилось с его компьютером, на котором был, по его словам, единственный экземпляр перевода «Бытия и времени». К нему послали толкового аспиранта, проблема была решена, но сама мысль о возможности в один миг потерять плоды двадцатилетних трудов, заставляла оценить масштаб: не у всякого в домашнем компьютере хранятся подобные ценности.

И еще один маленький эпизод. Как-то мы с Олегом Аронсоном затеяли в Киноцентре у Клеймана нечто вроде киносеминаров. Предполагалось, собрав интересную аудиторию и показав ей спорный фильм, получить на выходе живое обсуждение. Для первого раза был выбран М.Скорцезе, «Последнее искушение...», в Москве тогда ещё не виденное. Пригласили и теоретиков, про которых было известно, что они люди религиозные — католика Е.В.Барабанова и православного Бибихина. В этом не было какой-либо провокации, просто хотелось иметь возможно более богатую палитру взглядов. По плану после крошечного вступления все должны были мирно посмотреть кино, а уже потом при свете начать разговоры. Не тут-то было. Бибихин и Барабанов заспорили еще только пока все рассаживались, и спор был горячий, хотя подробности спора мне и неизвестны. В фильме много моментов, которые впоследствии уже при широком показе вызвали недовольство РПЦ, но мы надеялись, что философы, по меньшей мере, досмотрят его до конца. Владимир Вениаминович встал и ушел посреди фильма. Сцена, которую он не стал досматривать, едва ли была в числе тех, что раздражили церковный официоз. Эта была сцена пира в Кане

Галилейской, претворение воды в вино. Формально отклонений от сюжета не было, но кульминационный момент был решен в духе рекламных шаблонов: приподнятый бокал, улыбка и искрящийся отблеск на белоснежных зубах. Вот этой эстетической несообразности Бибихин терпеть не стал, и мы не услышали его соображений о других, уже гносеологических или этических парадоксальных поворотах этого фильма. Таким образом, представление о Бибихине как об отвлеченном теоретике оказалось ошибочным. Вот это удивительное сочетание, думается мне, и есть самое интересное в персоне Владимира Вениаминовича: никакого цинизма и высокомерия «практических людей» и никакого хирургического бесстрастия «чистого теоретика». Происходящее или говоримое всегда принимается абсолютно всерьез, и значимость того, что высказывается или делается, рождается в самый момент говорения или делания. Оттого и неважны чины собеседника, что важен предмет разговора. Оттого и неуместны временные конструкции и тактические соглашения, что всякое действие значимо.

Есть авторы, отделяемые от своих работ. Можно свободно пользоваться их результатами в одной области, не принимая того, что они сделали в другой. И есть иные авторы, чью целостность нарушить невозможно и отношения с которыми строятся не сообразно симпатии, а контагиозно: придя с ними в соприкосновение можно лишь заразиться либо избежать заражения. Именно об этих вторых потом долго спорят, кто это был: философ или поэт, провидец или шарлатан, мастеровой или художник. В стройном курсе истории философии они всегда особняком и противятся классификациям. Но именно от них снова и снова исходит заражение философией. А уж добром или худом обернется эта горячка — заранее угадать никак нельзя, и сами авторы за то не в ответе.

Н.Н.Мурзин: Для меня главное в наследии Владимира Вениаминовича Бибихина – поразительная открытость, имеющая характер приглашения: не только к мысли, но и к бытию. Слишком часто от философских трудов ощущение закрывающейся, а не открывающейся двери, замкнутости, доходящей до сектантства, культ своеобразно понимаемого «профессионализма», сверхэрудированности. Бибихин – это освобождение жизни для мысли и мысли для жизни, но это вовсе, как бы ни изощрались недоброжелатели, не означает дурного произвола, поощрения безграмотности и безответственности. Бибихин собственным примером учит, как пройти обе эти опасности: не впасть ни в грех недоучек, ни в грех переучек. Его язык, стиль сразу захватывают, простотой изложения и узнаваемостью примеров давая понять, что речь идет *вот об этом вот*, о том, что и так нас всех окружает и касается, о нашей жизни, а не о каких-то загадочных запредельных вещах, из-за которых от философии так легко отвернуться и отмахнуться. Разумеется, простота его – результат подготовки, подготовленности, изготовленности, а не просто вдохновенного наития; но он как никто умел перейти от количества к качеству, преобразить материю в материал, а материал – в произведение философского искусства/творчества.

Метафизичность жизни и жизненная проникнутость понятия – это, мне хочется верить, я уловил в историко-философских интерпретациях Владимира Вениаминовича. Здесь, правда, чувствуется, что мне бы от лица самого Бибихина решительно возразила Светлана Сергеевна Неретина: это все, что угодно, только не интерпретация. Употреблю тогда его собственное выражение: чтение (прочтение) философии. Надо всю жизнь читать философию, не бояться, по его слову, очистительного дождя чужой мысли, не держаться своих трех с половиной идей и конструкций. Рисковать постоянно остаться ни с чем. Понять, что это так пугающее всех ничто – дом родной для мыслящего существа, да и не ничто вовсе.

Человек, читающий Бибихина, т. е. – с помощью Бибихина читающий философию, не только получает приглашение в мир мысли. Мир мысли в этот момент тоже получает приглашение – сюда. Наше каждодневное бытие делается философским (не философствующим), метафизическим. Свершается таинство без всяких внешних атрибутов таинства, алхимическая реакция, без которой нет события философии – мир меняется, оставаясь при этом абсолютно тем же самым. К нему ничего не добавляется и не отнимается, но ты вдруг достигаешь с ним и в нем того самого тождества бытия и мышления, над которым бьются со времен Парменида. Это дар, который более всего стремишься не упустить, не заболтать, не потерять – не отпустить в «забвение бытия». Спасибо, Владимир Вениаминович.

Л.Г.Кришталева: Все мы говорим о Владимире Вениаминовиче Бибихине как о великолепном переводчике, человеке фантастической эрудиции и трудолюбия, невероятно широких и глубоких познаний, но на самом деле мы просто стесняемся сказать простое слово – великий. Да, нам посчастливилось быть современниками великого мыслителя.

Годы моей учебы на философском факультете Московского государственного университета совпали с началом чтения лекций, которые сейчас, будучи изданными, органично воспринимаются как книги. В аудитории же перед студентами эти тексты звучали как живое философствование. Всегда было ощущение: вот, на глазах рождается чудо подлинной мысли. А сам Владимир Вениаминович с пронзительным взглядом, парадоксальным ответом, внезапной замороженной задумчивостью был воплощением философии. Жаль, сохранилось мало аудио- и видеозаписей Бибихина, потому что интонации его говорения очень богатые, разные, человеческие.

Курсы читались семестрами, регулярно, по вторникам. Иными словами, у Владимира Вениаминовича часто была только одна неделя, чтобы написать большой текст – достаточный для полуторачасового говорения. Порой было понятно, что написано накануне, ночью, как отклик на злобу дня. Но какой это был текст! Иногда мне казалось, что надо год сидеть в пустыне или пещере, чтобы пришла такая ясность, одна такая точная предельная мысль. А тут человек каждую неделю открывает начала вещей, здесь и сейчас, не отрываясь от повседневных забот!

Он был удивительным научным руководителем для своих студентов. Был готов и действительно отстаивал перед университетской администрацией своих подопечных ценой собственной должности. Не согласный с одним из решений, отказался от оплаты и продолжил чтение лекций. Так длилось довольно долго – если не ошибаюсь, несколько лет. И это в трудные 1990-е, с семьей, с маленькими детьми. Нам, слушателям, объяснил эту ситуацию так, что для него честь – говорить перед университетской аудиторией. А нам, конечно, очень повезло – оказаться поводом для бибихинского говорения. Помню фразу Владимира Вениаминовича: «Дети быстрее растут, когда их меньше жучат». Он вслушивался в слова студентов так, словно звучало что-то невероятно важное и глубокомысленное. И благодаря такому вниманию, подаренным смыслам его «дети» действительно быстро росли. С тех пор прошло много лет – больше двадцати – но этот опыт встречи с подлинным – мыслью, человеком – остается важнейшим в моей жизни.

А.А.Гусева в своем выступлении отметила как особо важную для нее книгу «Внутренняя форма слова». Важна тем, что в этой внутренней форме, у которой не может быть никакой дефиниции, сосредоточен целый мир, который разворачивается каждый раз у нас на глазах, мир-процесс, скрытый от посторонних глаз и в то же время задающий всю дальнейшую речь, поскольку по своей сущности язык есть и нечто

постоянное, и в каждый момент преходящее. Он приводит такой пример: формула «дайте зачетку» не означает того, что мне нужна зачетка, она означает конец опроса. Если зачетка потеряна или забыта, поступок остается. Лингвистика научила видеть в языке мертвое, текст, порожденный продукт, но слово вброшено человеку, оно до всякого значения вводит его в дело, вызывая ответ *раньше*, чем отяжелевает в своих значениях.

С.С.Неретина:Через 10 лет, вспоминая, можно сказать: пронесся, как метеор. Семинаров было много,обсуждений мало.И не оттого, что не было чего-то сказать, Здесь была другая манера рассуждения – она одновременно была и обсуждением. Он разговаривал мысль в мысль.Тщательно подбирал слова. Между словами – большие цезуры. В этом – особенность его речи. Она была тождественной – тождественной тому, о чем речь... Я слушала одно его интервью. Возле балюстрады стоял высокий ему предназначенный стул, с которого он пытался встать. Его спрашивали о том, что было не его. Он пытался отвечать. Да как ответишь не своему? Спрашивали о том, сколько может наука. Отвечал раздумчиво: все или почти все. И, оживившись, говорил, что наука может создать такого человека, в каком нуждаются. Есть ли шансы для сохранения себя, своей самости? - спросил интервьюер. Подумал и медленно, почти вяло: раз говорю об этом, наверное, есть... Мне близко то, чем он полагает мысль, молчаливую мысль: уж никак не местом. Те, кто чем-то занимается, например, проводит семинар или читает лекцию, пишет статью, мыслят идолами, во всем видят не простор, а пространство. В этом смысле он никогда не проводил семинаров и не писал книг: он именно в эти моменты мыслил, узнавая, как он где-то писал эти минуты и зная, когда появляется «есть». Может быть, потому и было мало вопросов на семинарах и тем более обсуждений, что это и для слушателей открывалось, как только что прилетевшее и открывшееся. Здесь на деле и минуты (времени) нет: было чистое попадание в мысль, а с минутами всё и уходило, что-то, однако, обнаруживая и нагревая - «капельку», как он говорил, - в этой ни-чтойности. Потому и невозможно о нем написать, но потому же и невозможно ему пройти мимо чего-то затрагивающего.

Бибихин, я думаю, не сошелся бы с Бродским, как бы мне ни возражали какими бы то ни было ссылками на него. «Язык есть Бог», - считал Бродский. Бибихин же, прекрасно зная, что «вначале было Слово», но зная и то, что оно стало говорить человеком, когда-то написал, что если по-гречески«диавол» - обманщик, то сфера речи – его царство. В этом царстве обман начинается с момента говорения. И если не направить фонарь себе в лицо, то сразу и не понять, какой ты - молчащий или уже говорящий. Когда я слушала то интервью, я все время держала это в уме: он долго молчит, как бы взвешивая слова и – почти ничего не говорит. Молчание и Логос находятся в тесной упряжке. Логос испытывается молчанием. Он хранит то философски важное и сокровенное любовь, позволившую, скажем, М.Ю.Лермонтову любить Россию «странною любовью» - не за славу или преданья, а за «степей холодное молчанье». То, что сказал поэт, сродни Бибихину, считавшим вообще каждого человека поэтом в своем существе (Бибихин ссылается при этом на Гёльдерлина). Человек – это человек лишь в той мере, в какой он поэт, т.е. живет *sub specie silentii*. Выше такого единства молчания и в молчании нет ничего. Она принуждает человека быть свободным, и свободно избранное решение быть свободным обусловило его безвыходность из этой свободы – таков парадокс, с которым надо считаться, и он разрешается только в мысли и поэзии. Потому его занятия исихазмом вовсе не случайны, его собственная жизнь, несмотря на тысячи исписанных страниц, - опыт тишины. Я не могу согласиться с тем, что его позиция относительно исихазма как-то эволюционировала. Переставляются акценты, а, поскольку мысль знает, когда появляется это без- и вневременное «есть», то она здесь и сейчас выставляет это «есть».

Я знаю, что Владимир Вениаминович недолюбливал Августина, но писал-то, иногда совпадая с ним почти дословно, и я чуть ниже задержусь на этом «впадении», - в ихманере выражения есть нечто общее. Августин в диалоге «О порядке» рассматривал случаи употребления термина «разум» на примере определения человека как разумного смертного животного. Это определение, считал он, должно напоминать человеку не то, что он живое существо с разными качествами этого живого существа (то ли самого Бога, если учитывать, что, по Цицерону, Бог это оживотворяющее, или само живое, *animans vel animal*, то ли от божьей твари, что само по себе важно для понимания разных значений этого определения). Оно должно напоминать, куда он должен возвращаться и откуда он должен убегать. Именовани^{ем} «разумное» душа отличается от бессловесных животных, именовани^{ем} «смертное» - от божественного, что означает падение. Это значит, что само это определение есть очаг напряжения, лучи которого развернуты по прямой в разные бесконечности. Одна – *припадание* к божественному, другая – *впадение* в обман, в неточность, в смерть. С этим, по-видимому, и связана та готовность к взаимодействию, о которой говорил Сергей Львович и которая оказывается в этом очаге напряжения. Но и понимание в таком случае будет зависеть от выбора движения, и не всегда это будет взаимопонимание, хотя всегда взаимодействие. Я хочу рассказать напоследок один эпизод, случившийся на семинаре, посвященном Витгенштейну. После того, как Владимир Вениаминович закончил свое сообщение и попросил задавать вопросы, Александр Павлович спросил его, не считает ли он, что предложенная интерпретация (что тоже понимание) Витгенштейна допускает то-то и то-то (сейчас неважно, что). Бибихин встал и почти раздельно сказал: «Александр Павлович. Если Вы считаете, что то, о чем я говорил, это интерпретация, то я обижусь, если же Вы имеете в виду развитие той же мысли Витгенштейна...» Тогда я: «Владимир Вениаминович, если Вы считаете, что сказанное принадлежит Витгенштейну, то почему Вы подписываете его труд своим именем?» Он (после паузы): «Так считал Витгенштейн, но ответственность я беру на себя». Собственно, очаг напряжения – в этой ответственности за понимание.

Н.Н.Мурзин: Я согласен со сказанным, но у меня есть небольшая ремарка. Кажется, что о «дьяволе-обманщике» Бибихин говорил когда-то давно...

С.С.Неретина: ... но и нигде не отказывался от этой мысли. И, судя по всему, отказаться не мог, если учитывать, что в момент мысли он узнавал, что «есть». Но и, разумеется, он знал, что держится в слове. Звук, значение (по-моему, я почти цитирую) – для отвода глаз, значения подбираются, подхватываются. Писал же он во «Внутренней форме слова», что наш взгляд превращает язык в слова и правила и что язык умирает в них, как от взгляда медузы. Для него мысль - это означаемое, а слово - означающее. Мысль припадает, а слово способно отпасть. В напряжении выражения мысли через слово – то начинание, которое было важно для Владимира Вениаминовича. Не начало, а именно начинание, от которого он не уходил. Это, как у Л.Стерна, в «Жизни и мнениях Тристрама Шенди, джентльмена». Там, насколько помню, почти 400 страниц герой размышляет о дне своего рождения, рождается, а потом еще за почти 400 страниц достигает только пятилетнего возраста...

В заключение, если нет больше вопросов или желания что-то дополнить, позвольте всех нас поздравить с тем, что мы оказались в поле действия такого события, имя которому Владимир Вениаминович Бибихин. И если осталось нечто непонятое, то откупорить шампанского бутылку и перечесть...